

Вадим Климовский

ФРОСЯ

Вадим Климовский

Фрося

«Автор»

2017

Климовский В.

Фрося / В. Климовский — «Автор», 2017

Повесть о молодом человеке с трудной биографией, неглупом и вроде бы с сердцем, но несколько запутавшимся в жизненных "джунглях". Однако можно надеяться, что он все же выберется на свет божий...

© Климовский В., 2017

© Автор, 2017

Дора Штурман

Несколько слов о прозе
(фрагмент статьи)

...Вадим Климовский – режиссер, он органически связан со сценой, с ее законами. Может быть, отсюда его лаконизм, доходящий до степени жеста и ремарки. Никаких описаний и авторских размышлений. Картина, ремарка, реплика, образ, монолог. Драма, обернувшаяся прозой, но не утратившая законов драмы даже в пейзажах. (Яркий пример этому "Фрося".)

...Автор не спешит утешать. Но он не выносит и погибельного приговора: он слишком переполнен чувством жизни. Он не утратил веры. У него нет однозначных настроений, плоских портретов. Как и одномерных сюжетов.

...В принципе, плотность информации в подлинной поэзии, по сравнению с другими родами литературного творчества, максимальна. (Это не моя гипотеза, это вывод строгой науки – информатики). Но можно назвать и прозаиков того же толка – прозаиков, у которых нет воды рассуждений и описаний, а наличествуют владеющие ими образы.

Когда-то предельная насыщенность текста называлась воссозданием "потока жизни". Я думаю, это слишком узкое определение. Настоящее искусство слова воссоздает некий загадочный объем, в котором слиты объект и субъект. История, жизнь, личность, культура, сотворенная человечеством в истории, входят в этот объем на таких же правах, как и нерукотворная природа.

Проза Вадима Климовского представляется мне живым фрагментом этого многомерного объема.

Дора Штурман (3.03.1923, Харьков – 4.01.2012, Иерусалим), – израильский литературовед, политолог, публицист, историк литературы.

Вадим Климовский
(Из серии «Ретро»)

ФРОСЯ
(второй вариант)

Борис вышел из театра – остановился, придерживая массивную дверь служебного входа. Ссутулившись, смотрел под ноги – на щербатый асфальт, на грязную растоптанную пачку изпод "Примы". Куда идти? К себе – нет смысла. Сразу к Наталье? Просидеть с ней лишний час... черемуху разводить...

Отпустил дверь, послушал, как она, проскрипев, стеклянно грохнула за спиной. Рассеянно оглянулся по сторонам: замусоренная брусчатка пустынного переулка, почерневшая глухая стена старого кирпичного дома, крохотный скверик, скамья с проломленной спинкой, пыльная листва чахлого кустарника. На скамье – одинокая женская фигура.

Наползавшие сумерки обесцвечивали и без того унылые краски пейзажа. Борис рассматривал его с таким же пустым вниманием, как перед тем – замызанную "Приму".

Наталья, Наталья... Уже накрутила бигуди и сонно смотрит телевизор.

Женщина в сквере (или девчонка? – маленькая, толстая) продиралась напрямик через кусты на узенький тротуарчик. Помедлив секунду, торопливо зашагала наискось через дорогу – к служебному входу. В их заведение...

Борис отвернулся и побрел, на ходу продолжая решать – куда.

Его окликнули: "Борис!.. – и сразу же уверенней: – Борис Иваныч!"

Нагоняла та, из скверика. Не девчонка, нет, – за тридцать потянет. Кубышка. В широкой, уродливой юбке, просторной нейлоновой блузке, туфлях на толстой подошве. Ей бы каблук сантиметра двадцать пять...

Разглядывал через плечо, кисло скривившись, руки в карманах куртки, ждал, пока подойдет. И чего ей надо?

– Вы меня? – спросил нетерпеливо – она была уже близко. Замедлила шаг, заговорила на ходу:

– Ты меня не знаешь... не знаете... вернее, не помните... – Улыбалась во весь рот, смотрела снизу вверх, не моргая. Даже на него – снизу вверх. Остановилась рядом – спрятала глаза, улыбка сникла, а рот остался открытым, дышит тяжело. Запыхалась, бедняжка...

– Ну! Слушаю вас!

Из театра кто-то вышел, зорко глянул в их сторону. Быстро смеркалось.

– Вот что, я спешу, идемте, по дороге скажете... что там... – не скрывая раздражения пробурчал Борис и зашагал размашисто. Она едва поспевала. Чтоб им всем провалиться, и тебе тоже, каракатица. Опять заулыбалась, весело ей.

– А я вас сразу узнала! – Почти бежала рядом, вприпрыжку, заглядывая ему в лицо. – Такой же... только щетина. И еще худей... худее... похудели очень...

Борис посмотрел искоса – у нее лицо стало багровым. Ну и ну. Краснеет – до самых ушей, даже лоб. Давно не видывал. Красивей ты от этого не стала. А лицо будто бы знакомое. Их таких миллионы, поди разбери, где, когда... с кем он ее путает. Их таких в каждом городе... На какой-нибудь зрительской конференции, выступала с критикой, а он, подлец, забыл, не узнал... Что ж она молчит? Гуляем, очень мило.

– Может все-таки скажете, кто вы, что вам от меня нужно?

Машинально пошел парком, как обычно. Там еще не зажгли огней, было буднично и пустынно.

Куда ж он идет – к дому? Зачем? Ладно – дойдут до подъезда, "мне сюда" – постоит на лестнице, пока эта исчезнет, даже заходить не будет – и обратно, к Наталье, как раз вовремя...

– Ну?!

– Не вспомнили, значит... Конечно, где же... – Опять замолчала. – Я из Эн-ска, – назвала его город, – жила недалеко от вас... Живу. Это вы – жили. Ну, неважно... Я к вам... от родителей...

Борис остановился, выдернул руки из карманов.

– Что-нибудь с матерью?!

– Нет, нет, ничего! – слегка дотронулась до его плеча. – Да я и не от них... я – сама. Но...

Пытался разглядеть ее лицо, глаза – она отвернулась, смотрела на скамью. И вдруг:

– Давайте сядем, а?

И сказала Клабочка: посидим на лавочке. Ну и ну...

Не дожидаясь, смахнула пушистые тополиные сережки, разгладила аккуратно подол сзади, тяжело плюхнулась, откинулась на спинку, выбросила вперед ноги. Закрыла глаза. Спать собралась, что ли? Экземпляр!.. Открыла глаза, посмотрела на туфли, покрутила ступнями. Сейчас снимет... Так и есть – не наклоняясь, сбросила, пошевелила капроновыми пальцами, разминая. Глянула на Бориса и улыбнулась:

– Ноги затекли...

Он тоже сел, на краешек. Сгорбившись, смотрел в землю.

– Ну – так зачем вы приехали? На работу устраиваться? В театр податься решили? – Пытался накачать себя на грубость, – не получалось. – В актрисы? Протекция требуется?

– Не-ет... К вам я.

Борис выпрямился, повернулся к ней. Показалось, что и в темноте видит, как она краснеет. Смотрела на свои руки, они суетливо ощупывали одна другую.

Пробормотала совсем тихо:

– Надо вам домой ехать, Борис... Иванович. К старикам...

– Да что случилось?!

– Ничего не случилось. А помрут – и не повидаете.

– Да ты там причем? Я тебя знать не знаю!

– Хожу к ним: приберусь, в магазин, когда и сготовлю.

– Это как – от райсобеса? – Борис почти шипел от злости, но сам чувствовал: неубедительно получается. – Или от фирмы "Заря", что ли? И хорошо подрабатываешь?!

Она скрестила ноги – теперь ее правая пятка упиралась в левую туфлю, а левая – в правую.

Тихо сказала:

– Нет... я просто... – повернула к нему лицо с широко раскрытыми глазами.

Борис откинулся на спинку, подобрал голову в плечи, уткнув подбородок в грудь, жесткий воротник напоз на уши. Молчать, молчать. Ничего не надо... Пусть сама говорит. Дурацкая история...

И когда она заговорила – будто услышала его приглашение – Борис вдруг обмяк, провалился в теплое, мягкое, город исчез, все исчезло, даже она, только голос ее откуда-то издалека – так бы и сидеть всю ночь, всю жизнь, лишь бы не двигаться, совсем не двигаться...

А она говорила, говорила, то ли торопясь, пока не перебил, то ли в страхе перед молчанием, которое наступит, если она замолкнет.

– ...совсем плохи старики... Вы у них когда были-то?.. У Иван Никитича вторая нога отнялась, вовсе уже неходячий... а мама... Полина Ефимовна совсем слабая, лежит часто, сердце никуда... Одиноко им – никого... Полина Ефимовна всё плачет, плачет... И когда вам пишет, плачет... Всего не напишешь, не хочет она жаловаться... Скрывает... А сама все плачет... "Хоть бы приехал Боренька, приехал бы..." "Вы, говорю, попросите – может и придет". "Нет, пускай, у него там своя жизнь. Ничего о себе не пишет – «жив, здоров» – но я знаю... Театр, сложно..." Про вас маленького начнет рассказывать – повеселеет, а потом опять плачет... Хоть бы, говорит, женился, внучонка привез показать...

Остановилась на секунду – как споткнулась.

– А может, говорит, женился уже – да не пишет, он такой...

Снова запнулась.

И продолжала – как что-то ненужное, лишнее – повторяясь, затихая:

– Всё плачет, плачет... Я её утешаю, да какая из меня утешительница... С ними бы жить вам надо... Хоть съездили б... Разве расскажешь об этом?.. Вы сколько дома не были?.. Семь лет... Через три месяца – семь...

Умолкла. Наконец. Считает месяцами – надо же. "Дома". Нет у него дома.

Сидеть стало жестко, ребра скамьи впились в зад, в спину, посвежело, изнутри бил озноб. До чего же глупо жить на свете... Глупо, глупо. Всё ужасно глупо – слушать эту жалостливую чушь, всё, что он и сам знает, видел, читал между строк в материнских письмах... Какого чёрта. Какого чёрта (если не сказать больше, да) припёрлась, лезет в его жизнь, с домкомовскими моральями...

– Какого черта... – процедил сквозь зубы.

Она выпрямилась, руки сложила на коленях.

– Знала – злиться будете...

Злиться!.. Идиотизм.

И вдруг она протяжно зевнула, прикрыв рот ладошкой. Стала тереть глаза кулаками. Больная на голову. А он сидит тут с ней...

– Послушай, ты что – ненормальная?

Убрала руки от глаз.

– Притащилась за мильон километров, чтобы сообщить мне... всё это?

Она молчала. Быстро посмотрела на Бориса – и снова опустила голову. Выдохлась. Выпустила пар.

Вспыхнули фонари. Деревья, живые во тьме, обернулись мертвой декорацией, ядовито-зеленые листья блестели, как лакированные. Борис встал. Размялся, одернул вздувшуюся на груди куртку.

Долго надевала туфли, но надев, продолжала сидеть.

– Ну, вот что! Зря мотались в такую даль. – (Вернулся на "вы": сохраняй дистанцию.) – В отпуск приеду, сам давно уж решил. – (Ничего он не решил – так, подумывал. Не первый год... И зачем он ей объясняет? Она что – всю ночь сидеть собралась?) – В общем – если у вас тут дел больше нет, катите обратно!

– Да не приедете вы... А я не специально сюда... Я – по дороге... Ну, не по дороге, а... в Москву ездила...

Борис помолчал. Она сидела, согнувшись. Интересно, какие-то дела у нее в Москве?

– Врете вы.

– Вру, – вздохнула тяжело.

– Вот видите!.. – Борис потоптался на месте, злость почему-то испарилась.

– Да вы не беспокойтесь – я сейчас уеду. Поездов много.

В Москву приедет часа в три ночи...

– Из Москвы – самолетом?

– Поездом. У меня уж и билет есть. – Тревожно пощупала юбку где-то у колена – и успокоилась.

– И когда же твой поезд?

– Девять двадцать. А что?

Она встала, оттолкнувшись от скамьи руками.

– Так вы приедете? Я им скажу – обрадуются...

– Ничего не говорить! Сам напишу! – рявкнул Борис.

Она смотрела, не мигая.

– Хорошо. Так я пойду. До свиданья...

– Куда вы там пойдете... Переночуете у меня – утром поедете. – И сам удивился, что выговорил это.

– Что вы, никаких «переночуете». Я сейчас поеду!

И слава Богу, уговаривать не собирается.

– Ну, смотрите... Всё равно ухожу на ночь.

Помолчала. Размышляет.

– Нет, нет, поеду, спасибо.

– На вокзале до утра сидеть?

– Посажу...

– До вашего поезда – сутки!

– Москву посмотрю, интересно...

(«Может... боится?»)

Подняла лицо, поймала издевочку в его глазах.

– Ничего я не боюсь. Только – зачем? Обуза... Всего вам доброго, Борис Иванович.

С облегчением смотрел, как она уходит. Хромает на обе ноги – ну и ну...

– Куда же вы! Остановка рядом, идемте, покажу!

Помедлив, повернула обратно, стараясь идти быстрее. Не дожидаясь, Борис вышел через боковую арку к трамвайным путям, махнул рукой вправо:

– Вон там, где фонарь. Первый номер, прямо до вокзала.

Молча проковыляла мимо. Торопится, будто трамвай ее ждет... Борис отвернулся, быстро пошел вдоль парковой ограды. Поднял воротник: в спину задул сырой ветер. Сирокко. Сплошная романтика. В одной блузочке приехала. Или на вокзале оставила? Днем-то жарко было. Дуреха... Повертел головой, разглядывая небо – сзади напоздали густые черные облака. Быть дождю...

Зачем же он домой идет?! К Наталье – в другую сторону! Совсем мозги заморочила... Сжал зубы – желваки заиграли на скулах – зашагал назад.

Издали увидел ее, под фонарем. Ничего – свернет в парк, пройдет аллеей, не заметит... Как-то она странно стоит – на одной ноге, спиной прислонилась к столбу. А другую поджала. Туфлю сбросила, ей-богу. Так и есть – нагнулась, рукой что-то там ковыряет...

Борис поравнялся с аркой – загремел, нагоняя, трамвай – оглянулся: «единичка», – не сворачивая, пошел к остановке, прибавил шагу.

– Эй!..

За трамвайным грохотом она не услышала – суетилась, торопливо надевая туфлю, видно, никак не удавалось, трамвай уже стоял, откуда-то появившийся мужчина полез в дверь, двое сошли, направились навстречу Борису, заслонив ее, – Борис выскочил на дорогу, увидел, как она скачет к трамваю, туфля в руке, – заорал:

– Эй!..

Она оглянулась. Двери задвинулись, трамвай, громыхая и повизгивая, умчался.

Так и стояла: разутая нога полусогнута, пальцы едва касаются булыжника (па-де-де!), повернувшись к Борису, смотрела не мигая, улыбалась – совсем как тогда, у театра, только на щеках две невысохшие слезинки.

Борис подошел – почти подбежал – схватил за локоть, потащил на тротуар:

– Пойдем...

– Туфлю, туфлю надену!

Отпустил, приготовился ждать – но она мигом надела, пристукнула ногой, поморщившись, – опять улыбнулась Борису в лицо. Тот криво усмехнулся, тронул за локоть, и они пошли.

Она поглядывала на ноги, старалась не хромать. Тащила сзади, Борис нетерпеливо опережал на пару шагов. Отведет – и бегом к Наталье...

– Почему хромаете? – бросил через плечо. Молчать было не вмоготу.

– Дура я... Новые туфли надела. Целый день в них, ноги распухли... А как на лавочке сняла – совсем теперь не лезут... Не надо было снимать...

Свернули в парк, она оглядывалась, узнавая.

– Парком короче, – сказал Борис.

Ветер здесь не доставал, с шелестом запутываясь в ветвях.

– И из дому до Москвы поездом?

– Поездом.

Тянуло сыростью, прелым листом, грибами.

– И во сколько же прибыли?

– Утром, в одиннадцать.

Нормально – значит, выспалась. Чего ж она зевает и зевает?.. Давно уже шла, плотно обхватив себя руками, съжившись, смотрела под ноги. По классическим канонам, теперь он должен набросить на нее свою куртку...

Резко остановился, она ткнулась в него, налетев – отшатнулась, подняла лицо:

– ?..

– Вещи! Где вещи?

– А... – отвернулась, махнула рукой. – Там!..

– Где – там? В камере хранения?

– Да. Чемодан.

– Надо съездить, забрать...

– Нет-нет! Там ничего такого! Не надо!

Торопливо зашагала дальше.

Борис догнал. Не надо – так не надо. Не хватало еще и на вокзал переть. Наталья уже ждет... Проворчал:

– Зачем тащила, если ничего такого...

– А я и не тащила. – Не смотрела на Бориса, но он видел – слышал – что улыбалась, голос зазвучал по-новому, звонко, до сих пор еле слышно было. – Я – вот так! – развела руки.

– Как – так? Совсем без ничего?

– Совсем! Вот... – запустила руку в бездонный карман юбки, выудила кошелек, – здесь деньги. И все! – И бросила кошелек обратно. – А зачем – вещи? Мне только поговорить... с вами... часик, думала, – и назад.

– Авантюристка...

– Чё?

О, прорвалось – нашенское. Улыбнулся:

– Да ничё. Ненормальная ты, говорю... А в поезде как же? Переодеться, на ночь, всякое такое?

– А зачем? Я – в общем.

– В общем вагоне? – Даже приостановился. – Сидя? Двое суток?

– А чё? Я здоровая – сидя сплю. Спала. – Зевнула широко. – Пойдемте, а? Спать хочу.

– Уже близко...

Спала – спать хочу. Сейчас заснёшь, дуреха...

Парк остался позади. Борис приглядывался к ней, когда попадали в свет фонаря.

– Ну, а щетка, мыло? Зубы почистить – а?

– Это не додумала, верно. Да ничего – за неделю не сгниют! – Улыбнулась, обнажив крупные ровные зубы.

Зашли в темный двор. Споткнулась, ухватила Бориса за рукав. Сразу же отпустила.

– Ну вот, пришли. На пятый этаж.

На третьем она сказала:

– Кошками пахнет.

– Здесь старуха живет. Восемь кошек у нее.

– Одинокая?

– Ну да – и восемь кошек.

Вздохнула. И пока поднимались дальше, все оглядывалась на старухину дверь.

Борис долго отпирал, никак не мог попасть ключом в скважину. Наконец, отпер – пнул ногой, распахнул узкую створку.

– Прошу!

Шагнула в темный коридор, остановилась, Борис остался на площадке.

– Отдельная?

– Да.

– Сколько комнат?

– Пять!

– Ох!..

– Если считать кухню, коридор, ванную и сортир.

– Все равно – хорошо, – сказала она без улыбки.

– Может, и мне разрешите войти?

Шарахнулась в сторону – Борис вошел, щелкнул выключателем. При ярком свете увидел то же самое: широкий, вздернутый нос, скуластые щеки, большой бесцветный рот, синяки под глазами (вообще-то в глазах что-то есть... и огромные). Ресницы неестественно длинные,

темные, как и брови, темней, чем волосы, открытый лоб – шар, и вся она – шар, эта блузка, эта юбка... ноги не разглядишь... Не видит, как он ее нахально разглядывает – пялится, не моргая, на пустой коридор. Нет, не совсем пустой...

По облупленным доскам пола (от краски одни воспоминания) – обрывки бумаги, смятая газета, по стенке, на гвоздях – плащ, мохнатая куртка, кожаная фуражка, в углу – фанерный ящик под сдвинутой крышкой, на нем две щетки, сапожная и платяная, тюбик с черным гуталином, некогда белая пикейная кепочка. И зеркальце, прилеплено к стене изоляцией – заглянула в него, провела по недлинно стриженным пепельно-серым волосам. Дохнула на зеркало и протерла ребром ладони.

– Осторожно, отвалится.

У зеркала не задержалась – устоялась на две пары тапочек. Ногой показала на те, что поменьше:

– А это – чьи?

– Для гостей. – Криво усмехнулся. Вот бы Наталья нагрянула – поди докажи ей... Нет, не любит Наталья к нему приходить, не любит... Захотелось пнуть тапочки в угол. Подвинул ногой: – Вот, наденьте. И хватит уже тут торчать, проходите!

Сбросила туфли, на ходу разминая ноги, пошлепала к ближайшей двери.

– Это кухня. Сюда. – Прошел вперед, зажег свет. Спросил равнодушно: – И зачем босиком? Грязно... – Стоял, ссутулясь, посреди комнаты, в куртке, воротник поднят, руки в карманах. – Вообще-то я иногда подметаю. Ладно, садитесь, отдыхайте.

Долго примерялась к низкой покатою тахте – не удержалась, тяжело плюхнулась и, ойкнув, замерла: тахта гулко бухнула, с фанерным треском.

Борис молча следил, ухмыльнулся.

– Бутафорская. Не отшибла чего-нибудь?

– Какая?

– Не настоящая, для спектакля сделана. Фанера, тряпкой обтянута. Обманывает, да?

Коротко засмеялась.

– А я боялась, думала – провалю вам пружины. Тяжелая я. – Покачала головой, провела по крутому горбу ладонью. – Так вы же с нее скатываетесь!

– Нет, привык. Раскладушку вам поставлю, если хотите.

– Мне все равно, я и на полу могу.

Откинулась назад, уперлась руками в тахту – разглядывала комнату.

– И стол бутафорский. – Присел на угол, постучал каблуком по фанерной тумбе. – И этажерка. Книги – настоящие, да. Стулья тоже настоящие, но – не мои: театральные. Обставили артиста...

– Все артисты так живут?

– Нет – кому как нравится...

Хотела что-то спросить – и промолчала.

– Я сегодня здесь – завтра там.

– Почему ж так?

– На одном месте скучно.

– В театре – скучно? – Борис не ответил. – А зачем же тогда... – и опять проглотила.

– Зачем работаю? – Усмехнулся. – Нравится!

Она смотрела, не мигая, сквозь голое, без шторы, окно.

Протянула:

– Нравится – и скучно...

– Долго объяснять. – Борис соскочил со стола. – Сразу спать ляжете или чаю попьете... с чем-нибудь?.. Разрешит-ка, я белье достану.

Подобрала ноги, заглянула, вытянув короткую шею, под тахту – Борис вытащил оттуда огромный потертый чемодан, порылся, достал наволочку, простыню, пододеяльник.

– Вы оставьте, я сама, – сказала она и опустила ноги на пол, – вам же уходить надо.

– Конечно! – Он оставался на корточках. – Так как же?

Покосилась на скатанный в изголовье постельный тюк, удержала зевету.

– Чайку бы хорошо... А есть не хочется... Да я вскипячу, вы идите!

– Не хочется? Вы когда ели?

– На вокзале...

– На каком?

– Как же его... На Казанском!

– Утром, значит? Стесняетесь? – (Ехать – не стеснялась...) – Приставать на улице – не стеснялась!

Хмыкнула, но стала пунцовой, смотрела в пол.

– Чего это вы – то ты, то вы. Меня и на ты можно.

– Большое спасибо. – Еще проблема.

И вдруг – отчаянно, не поднимая глаз:

– А дом ваш – разваливается... крыльцо совсем прогнило...

– Я же ска-зал!

Резко поднялся с корточек, отошел к окну. За черными стеклами, на фоне черного (бархатного?) задника светилась сдвоенная декорация с раздвоенными персонажами: близко за стеклом – двое хмурых мужчин, близнецы, в одинаковых куртках; под двойным потолком – два расплывчатых пятна от лампочек без абажуров; далеко, у размытой стены – две тахты, вдвинутые одна в другую, и на них – двуголовая, трехногая, невесть кто, смотрит в четыре немигающих глаза ему в спину... Почему он не уходит?

– Ты вот что – искупайся, – не поворачиваясь, продолжал смотреть в черное окно, – легче жить станет.

– Думаете – легче?

Борис обернулся: нет, никакой иронии.

– Что ж, и правда... – Встала и сонно побрела в коридор.

– Сейчас полотенце дам. Ванная рядом! Но это – тоже полезное заведение...

Торопливо захлопнула дверь в туалет (оттуда пахло ржавчиной, сырой извешткой) и скрылась в ванной.

– Да вы не смущайтесь – все мы человеки...

Никак он не возьмет верный тон. Будто роль репетирует и – не идет, все – фальшиво... Действительно: "то ты, то вы"...

– Ладно, мойтесь. – Не дожидается больше "ты". – А я чаек поставлю.

Щелкнула изнутри задвижка.

Остаться одному – этого он хотел? Этого боялся. Хотел – и боялся. Отвечал, спрашивал, лишь бы что-нибудь звучало. Отвлечь себя от... Но теперь уже – не избежать. Один, хорошо... К Наталье сейчас не пойдет, успеет, есть еще время, пусть позлится. Пока эта в ванной торчит – есть время...

Пошел в кухню, на ходу стащил куртку, швырнул на ящик, заглянул в зеркальце: да-а, щетина, давно уже бреется только в день спектакля, иначе грим не положишь, а в другие дни – зачем?..

Выплеснул из продавленного чайника воду с чешуйками накипи, налил свежей и поставил на газ.

В ванной шумела (непривычно, уютно) вода. Борис лежал на горбатой тахте, свесив набок ноги в башмаках. Курил. Минута покоя. Он знает, что принесет с собой эта "минута покоя". Знает – но уже не может устоять перед горьким соблазном. Как наркоман... И задымил – не

зря: курит не так уж часто (и тогда он мало курил), если только... если только не бессонница (так, пижонил, чтоб не отстать), а сегодня, пожалуй, пачкой за ночь не обойдется... где бы он ни провел ее, эту ночь...

Голова неудобно упиралась в постельный тюк, шея немела, но Борис не шевелился. Лежал с закрытыми глазами, сквозь веки ощущал резкий свет лампы. Мышцы расслабились, подбородок чуть опустился, приоткрыв рот, сигарета повисла, прилипнув к губе. Сейчас упадет и прожжет рубаху. Но сигарета не падала – совсем, как тогда...

...полулежал на теплых ступенях крыльца, прикрыв глаза, солнце приятно грело веки, просвечивало насквозь огненными плывущими пятнами, окурок, уже погасший, приклеился к нижней губе, сросся с ней, перестал быть. В полудрёме не слышал шагов... Очень была теплая, хорошая весна – не смотря ни на что. Заканчивал свое училище, знал уже, где будет работать, механический цех – название одно, развалюха, да и весь заводик – шарага, поставили его гайки нарезать, к верстаку, озвереть можно, быстро на токарный перешел, там хоть мозгой шевелить полагалось... "Встать!" – открыл глаза, еще плохо соображая – над ним высился Полковник, бычья шея налилась кровью. Вскочил на ступеньке, лица оказались на одном уровне, почти вплотную – вспомнил про окурок, поднял руку, снять с губы – не успел, чугунный кулак Полковника наискось сверху вниз сшиб окурок наземь, – соленый вкус крови из разбитой губы, – отшатнулся назад, зацепился каблуком, упал навзничь, подставив руки. Сразу же поднялся, пошел прочь, у калитки остановился – Полковник смотрел вслед, через плечо. Борис достал пачку, не спеша выбил папироску, закурил, сплюнув предварительно кровь...

В ванной стало тихо – услышал, как неистовствует чайник. Встал, забыв о сигарете, комочки пепла осыпались на рубаху, на пол.

В кухне запотело от пара окно, охлажденные капли уже поползли червячками вниз. Машинально лил кипяток в ароматный чай...

...и не отрывал глаз от мясистого лица с тонкими, плотно сжатыми губами... Потом, годы спустя, стоял у больничной койки и поверить не мог, что вот это усохшее тельце под грязноватой простыней, с плешивой головкой и печеным яблоком вместо лица – и есть тот грузный полковник с бешеными глазами. Не приехал бы ни за что, но мать свалилась в тяжелом гриппе, вырвался на неделю – застрял на месяц: не пустил мать в больницу, когда поднялась – сам таскался туда каждый день, кормил его лекарствами, кашкой с ложечки, подставлял утку, делал все, что делала бы мать, и молчал, молчал и ненавидел – жлоб, жлоб, убийца... Не для матери это делал – для себя, чтоб не видеть как она пляшет вокруг Полковника, не знать – и за тысячу верст – что сидит она там сейчас у вонючей постели, улыбается, глотая слезы, преодолевая колющие в сердце, да еще, верно, гладит его костлявую неживую руку – "Иван Никитич, Иван Никитич" – иначе не называла, никогда. Хоть тут потешил он себя – лишил Полковника (мысль запнулась – чего лишил? тот, может, и не соображал как следует, долго в себя не приходил, глаза бессмысленными оставались), да что толку – знал ведь, что не вечно так будет, вечно бы не смог – уедет, – привез Полковника домой, улетел в тот же день, и пошло все, как и предполагал, в точности – насмотрелся, слава Богу, в последний свой приезд, до тошноты...

– Борис Иваныч! Борис Иваныч!

Чего ей надо? Вернул фарфоровую крышку на чайник, вышел в коридор:

– Что там у вас? Чай готов!

– Да-да... я тут порошок нашла... постирать хочу... Можно?

– Мое – не трогать! – рявкнул Борис. Молчание. – Ясно?

- Ну ладно, только свое... порошок-то можно?
– Можно, можно! – Ясно, постирушечка, дурацкое чаепитие откладывается.
Закурил новую сигарету, сел на тахту, уставился в грязный пол...

...вернувшись в первый день из больницы, ночью, достал из ящичка фотографию, в пожелтевшую газетку аккуратно завернутую – долго пролежала она там: с пятьдесят третьего... Да, четырнадцать ему стукнуло, когда появилась в доме эта фотография – четырнадцать лет и четырнадцать зим от Полковника ни слова, и вдруг – письмо, короткое, ни о чем, будто писал каждый день, исписался, – мать ответила – долго сидела, зачеркивала, рвала листочки, – и пошли письма, зачастил, даже деньги стал присылать, но только первое письмо показала мать, а после – прятать начала, в ящичек, никогда ничего не запирала, знала – не полезет, он и не лазил, хоть и жгло любопытство, потом привык, забыл... Через много лет добрался-таки до ящичка, – не первые оказались те письма, не первые... А фото мать на столике в рамочке поставила: бравый, плечистый полковник, в темном кителе, лихой зачес над командирским лбом, – Борис тогда и не знал еще ничего, не понимал – а вскоре и узнал, недолго она у вазочки простояла: вернулся после того разговорчика с Иваном, схватил – озябшие пальцы не слушались, часа три на Круче просидели – хотел изорвать да в мусор, – удержался: "Убери, мать, чтоб я ее не видел". Мать, мать... Может, и сама толком не знала – и узнала ли когда? – такая она... Но без слов убрала в тот же ящичек... а уж после, видно, поглубже засунула, под голубую бумагу, что дно устилала... Вот, пока фотку искал, и обнаружил *то* письмо, оно-то и оказалось первым, вот его-то прочитал... прятала, перепрятала да не упрятала... только не скоро это случилось, в последний приезд...

А через три года после фотографии – и сам появился, но уже притупилось, улеглось: встретил его «спокойненько», – хорошо, что матери не было, при ней бы не стал... Вернулся из школы, а во дворе Полковник стоит, у крыльца, дорогу загородил – "Ну, здравствуй, Борис Иванович Щербина", – мрачный, без погон, грузней, чем казался на фото. Ответил, стараясь смотреть прямо в притухшие уже глаза: "Здравствуйте, только я – Мартынов", – и увидел, как вспыхнули они... не силой – бешенством. А через неделю – пришел поздно, как обычно, темно уже, мать ему ужин на стол собрала, Полковник стоял, смотрел, шея налилась кровью, смахнул огромной ручищей все на пол: "Ресторан ему тут! Дармоед! Ублюдок!" Почему "ублюдок" – не понял тогда, ему и дармоеда хватило – на другой день школу бросил, хотел опять в штукатуры, да мать уговорила, в училище подался. Но по-настоящему возненавидел Полковника потом: застал как-то мать над тетрадками в слезах, не успела утаить – дома бывал мало, старался придти, когда заснут, завтракал, ужинал и спал, в тот день пораньше явился – и понял, откуда у нее синяк под глазом...

... в пятьдесят третьем всматривался впервые в гляцевую карточку девять на двенадцать, и хоть давно уж потускнел для него ореол "героического воина" – когда узнал: не на фронте Иван Никитич Щербина пропадает, а на "секретной работе", – все же нравилось втайне, что этот, в ремнях, с тремя звездами на погонах, с удалым поворотом головы – его отец...

... а вернувшись из больницы, смотрел на фото – и не видел braveго командира: только властные, свирепые глаза и мясистое лицо с туго натянутой кожей на скулах. Бугай, бешеный бык, убийца. И на другой день, у больничной койки, глядел на Полковника, потерявшего половину мяса и весь дух, всё силился, силился представить его прежним, здоровым – и не мог, всплывала перед глазами лишь фотка... И после, через много лет, вспоминалась ясно лишь с потертым гляцем фотография – либо печеное яблоко на больничной подушке в застиранной наволочке, либо подросток-старичок на табурете в саду, под старой одичавшей яблоней, с палкой между колен. И только сегодня... Почему?.. Борис закрыл глаза... снова увидел Полковника на крыльце, его большую голову, редеющие волосы, жидкий чуб прилип к потному лбу, мясистое, тронутое рыхлостью лицо, только глаза бешеные, как на фото – смотрят сыну вслед, –

а вот и он сам, у калитки – стоит, вытаскивает из кармана, как в замедленной съемке, пачку "Беломора", щелчком выбивает папиросу, закуривает, не спуская с Полковника глаз. "Мать не бережешь!" – прорычал тот. "Я поберегу! – голос сорвался – Через месяц иду в цех!" – опять не то, глупость, не знал, что сказать, злоба и ненависть пульсировала в разбитой губе, и вдруг четко произнес: "Вохровец!" – успел заметить, как дрогнула у того, словно от удара, чугунная голова, – хлопнул калиткой и ушел...

– Борис Иванович! Борис Иванович!

Холера. Что опять? Закончит она когда-нибудь? Может, пол теперь моет или побелку затеяла...

– Ну как? Чай остынет!

– Да я уже всё... Только...

Кажется, плакать собралась. Вышел в коридор:

– Что там еще?..

– Не сообразила я – надеть-то мне нечего...

Не сразу понял.

– Вы что ж – и юбку постирали?

– А как же? Конечно!

Борис сдержал язвительный хохот, вздохнул погромче, сел на ящик: ну – персонаж...

– Что ж делать, идите так – не замерзнете.

– Да ведь мокрое – всё-всё!

– Нет – просто так. – За дверью тишина. – Шутка! Я сейчас.

Приподнял крышку, вытащил из ящика мятые брюки и рубаху.

Подумал – вернулся в комнату, выволок из-под тахты чемодан, извлек черные сатиновые трусы.

– Получайте! Если налезет: я не из богатырей.

– Ничего, у меня сорок шестой.

Кто это ей сказал? Он видел – пятьдесят второй. По крайней мере в бедрах.

Дверь приоткрылась, в щель просунулась распаренная розовая рука, он сунул в нее сверток:

– Не пролезет, откройте пошире!

Сверток с шелестом ушел в щель, дверь захлопнулась.

– А это зачем?

– Что – «это»? А – трусы? Соблюдай гигиену.

– Ну, ладно... Я мигом.

Прошел в кухню, зажег под остывшим чайником газ...

... "мать не бережешь!" Буйвол! Сморщенный старикашка под гнилой яблоней... Через месяц мчался с работы домой, в кармане – кулак с зажатой в нем получкой...

Борис улыбнулся и стал нарезать хлеб, потом колбасу. Радость – первая получка. В первый раз – все радость. Тем более в девятнадцать... Нет, не первая то была зарплата, первая – задолго до того...

... после отъезда Ивана взбунтовался – против матери, против школы, нанялся к малярам, подсобником, – не против матери бунтовал, не против школы – против целого мира, сам не знал – что хотел доказать, рвался из слепого детства, а ударился в детскую игру: хоть и получил за год, мимоходом, профессию (и пригодилось потом, через годы), да много было от игры, и мало радости...

...а теперь у него – диплом токаря, и в пачке трёшниц – освобождение от Полковника, мнилось: отодвинет бычью тушу, вставшую между ним и матерью с того дня, как объявился – письмами, фотографией, деньгами, а потом и сам. (И до сих пор маячит между ними – иссохшей мумией на табурете под яблоней плодов неприносящей...) Бежал домой – и верилось: уже взрослый, свободный, сильный, повторял на ходу – что сейчас скажет матери... Пришел раньше обычного – и в самый раз: не успели приготовиться... мать не успела приготовиться, – кинулась к тетрадкам, утирая поспешно слезы, левая щека – та, что к нему – горела красным пятном пощечины, различал ясно три широкие полосы от пальцев, разделенные тоненькими белыми. Полковник стоял отвернувшись, загородив низкое окно, подпирая головой потолок, большие пальцы – за офицерским ремнём. Посмотрел в широкую мощную спину – до скрипа сжал зубы, судорожно сунул кулак с деньгами глубже в карман, жестко уткнулся в свинец – не для этого мастерил, не для этого, не для этого... И все же – теперь знал, что надо говорить, что надо делать. Но сначала скажет, что собирался, – матери. Вынул из кармана деньги, положил на столик, прямо на тетради – "Вот, мать, моя зарплата". Четко добавил: "И не бери из его сволочной пенсии ни рубля! Проживем! Ни рубля!" Полковник круто повернулся – "Мозгляк! Из-за тебя ссоримся! Шляешься по ночам! Сегодня прибежал – трешками боговать! Воспитала – убудка!" – слово обожгло, не прозвучи оно, может, и не решился бы, – понял (и не поверил, как не поверил, прочитав через много лет то письмо), это было как озарение, секунда озарения – и утроенной ненависти, дикого бешенства, до черных кругов перед глазами, – пошевелил рукой в кармане, ловко вдел пальцы и, выдернув кастет, шагнул к Полковнику, тот замолчал – заткнулся! – подошел вплотную, прошипел: "Мать еще тронешь – череп проломлю, убью, поверь – убью, не этим – так ломом, спать будешь – убью!" Мать вскочила, дрожа – "Боренька, что ты, Боренька, что ты" – но подойти боялась. Полковник стоял недвижно, смотрел исподлобья, застыл. Долго стояли так – минуту, вечность?.. Повторил – очень тихо: "Убью – понял ты?" Полковник что-то пробормотал и прошел мимо, в свою каморку... Бориса трясло, из глаз потекли слезы, зубы стучали мелко-мелко, мать кинулась – "Боренька, Боренька" – вывернулся, резко повертел головой, стряхивая оцепенение. И громко – чтоб слышал тот, в каморке – "Если тронет, мать, не скрывай – все равно узнаю"...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.